

Василий Шукшин

Заревой дождь

Был конец апреля. С карнизов домов срывались крупные капли, теплый ветер сдувал их, они мягко шлепались в стекла окон и медленно стекали светлыми слезами. Ефим Бедарев лежал в районной больнице, в маленькой палате, на плоской койке.

Он почернел от болезни. Устал.

Часто заходил врач, молодой парень.

— Ну, как дела?

— Как сажа бела, — с трудом отвечал Ефим; в темных провалившихся глазах его на миг вспыхивала странная веселость. — Подвожу баланс.

— Бросьте вы!..

— Я шутейно, — успокаивал Ефим. Ему нравился доктор: он был до смешного молодой и застенчивый, этот доктор.

— Лекарство пили?

— А как же! Лучше стало — чую.

Доктор пытливо смотрел на больного. Тот спокойно выдерживал его взгляд.

— Не веришь? Хэх, доктор!.. До чего же ты молодой еще. Прямо завидки берут.

Доктор краснел:

— Как это не верю! Зачем вы так?..

Ефим легонько хлопал его по руке:

— Все в порядке, сынок: я понимаю. Я не жалуюсь... Мне бы только дочь...

— Ей послали телеграмму.

— Вот хорошо! — Ефим хотел увидеть единственную дочь Нину. — Это хорошо.

В полдень, когда в палате никого не было, в открытое окно, с улицы, заглянул человек в белом полушубке. Оглядел палату, снял с огромной головы мерлушковую шапку и лег грудью на подоконник. В палате запахло талой землей и овчиной.

— Здорово, Ефим.

Больной повернул голову и от удивления округлил глаза. Пошевелился — хотел приподняться, но человек в полушубке замахал рукой:

— Лежи!

Ефим внимательно смотрел на пришельца.

— Зашел попроведать, — заговорил тот, глядя раскосыми глазами не то на больного, не то мимо. — Как делишки, Ефим?

Ефим усмехнулся:

— Хорошо.

Большеголовый понимающе кивнул. Вылез из окна, высморкался на землю и снова влез и лег на подоконник. Некоторое время смотрели друг на друга.

— Значит, как я понимаю, плохо дело, — сказал большеголовый и опять понимающе кивнул.

— Ты для чего приполз сюда? — спросил Ефим.

— А приехал в гости к зятю, — охотно заговорил большеголовый, — ну, узнал, что ты, значит, прихворнул. Ага. Ну, сидел на крылечке, и так меня разморило. Вот, думаю, весна, хорошо, солнышко светит. Да-а... А помирать все одно надо. — Он полез в карман полушубка за кисетом. — И опять же так подумал: вот живем мы, живем — вроде так и надо. О смертыньке-то и не думаем. А она — раз! — тут как тут. Здрате, говорит, забыли

про меня? — Большоголовый посмотрел прямо на Ефима. Взять хоть тебя, Ефим... — Он долго слюнявил край газетной самокрутки.

— Ну?

— Ну, жил, думаю, человек... активничал там, раскулачивал... э-э... и все такое. — Большоголовый прикурил, заботливо отмахнул от окна белое облачко дыма. — Крест с церкви тогда своротил. Помнишь?

— Помню, как же.

— Во-от. Я к чему это: там есть бог или нету — это ладно. Не про то счас. Я хочу узнать: как вообще-то?

— Что?

— Мучаешься?

— Хочешь знать: мучает меня совесть, что я вас раскулачивал? Это, што ли?

— Ага, вот это самое.

— Нет, Кирилл, не мучает. Нисколько. А бога ты зря приплел. Ты ж сам не веришь. Хоть бы сейчас-то не вилял душой.

Кирилл усмехнулся:

— Богу не верю — это правда. Ему, как я понимаю, никто не верит, притворяются только.

— Молодец. Хоть на старости лет за ум взялся.

— Не радуйся шибко-то. — Большоголовый назидательно посерьезнел. — Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать: кто в жизни обижал людей, тот легко не умирает.

— Ой, как я испугался, прямо трясусь весь. Дурак ты, Кирька, и всегда дураком был. Хэх, блаженненький явился...

— Это ты передо мной веселишься, — продолжал Кирька. — А самому страшно.

— А я не помру. Откуда ты взял, что я помираю?

— Ничего, ничего, — значительно сказал Кирька и затянулся трескучим самосадом.

Вошел доктор.

— Это еще что такое? — нахмурился он, увидев Кирьку.

— Это... сосед мой, — сказал Ефим. — Пусть постоит.

— Бросьте курить-то! И лучше бы уйти...

— Нет, — запротестовал Ефим, — пусть побудет.

Кирька сполз с подоконника, старательно затоптал окурок.

Врач заставил Ефима выпить лекарство, посидел немного рядом с ним и ушел.

Кирька снова лег на подоконник.

— Хороший уход здесь, — сказал он.

— «Хороший уход здесь», — передразнил его Ефим, неожиданно почему-то рассердившись. — Оглоеды.

— Не шуми. Это тебе не сельсовет, а больница.

Помолчали.

— Гляжу я на тебя, Ефим, — заговорил вдруг Кирька задумчиво и негромко, — и не могу понять: ведь сколько ты мне вреда сделал! Хозяйство отобрал, по тайге гонял, как зверя какого, сослал вон куда к черту на кулички... Так? А зла у меня на тебя нету большого. Не то, что совсем нету: подвернись тогда в тайге, я ба, конечно, хлопнул. Но такого, чтоб света

белого не видеть, такого нету. Один раз, помню, караулил у твоей избы чуть не до света. Сидел ты с бумажками прямо наспроть окна. Раз десять прицеливался — и не мог. Не поверишь, наверно? В тайге мог ба, а дома нет. Сижу, ругаю себя последними словами, а стрелкнуть не могу.

Ефим скатил по подушке голову в сторону Кирьки, с любопытством слушал.

— Ты какой-то все-таки ненормальный был, Ефим. Не серчай — не по злобе говорю. Я не лаяться пришел. Мне понять охота: почему ты таким винтом жил — каждой бочке затычка? Ну, прятал я хлеб, допустим. А почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой, хлеб-то.

— Дурак, — сказал Ефим.

— Опять дурак! — обозлился Кирька. — Ты пойми — я ж серьезно с тобой разговариваю. Чего нам с тобой теперь делить-то? Насобачились на свой век, хватит.

— Чего тебе понять охота?

— Охота понять: чего ты добивался в жизни? — терпеливо пытал Кирька. — Каждый человек чего-то добивается в жизни. Я, к примеру, богатым хотел быть. А ты?

— Чтоб дураков было меньше. Вот чего я добивался.

— Тьфу!.. — Кирька полез за кисетом. — Я ему одно, он — другое.

— Богатым он хотел быть!.. За счет кого? Дурак, дурак, а хитрый.

— Сам ты дурак. Трепач. Новая жись!.. Сам не жил как следует и другим не давал. Ошибся ты в жизни, Ефим.

Ефим закашлялся. Высохшее тело его долго содрогалось и корчилось от удушающих приступов. Он смотрел на Кирьку опаляющим взглядом, пытался что-то сказать. Вошел доктор и бросился к больному.

Кирька слез с окна и пошел из ограды.

К вечеру, когда больничные окна неярко пламенели в лучах уходящего солнца, Ефиму Бедареву стало хуже.

Он лежал на спине, закинув руки назад. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами тонкие прутья кровати, напрягался — хотел встать. Но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий, жгла губительным огнем; жаром дышала в лицо, жарко, мучительно жарко было под одеялом, в жарком тумане качались стены и потолок... Над Ефимом стояли врач и дочь Нина, женщина лет тридцати, только что приехавшая их города.

— Что сейчас?.. Ночь? — спрашивал Ефим, очнувшись.

— Вечер, солнце заходит.

— Закурить бы...

— Нельзя, что вы!

— Ну, пару раз курнуть, я думаю, можно?

— Да нельзя, нельзя! Как же можно, папа?!

Ефим обиженно умолкал... И снова терял сознание, и снова хотел встать — упорно и безнадежно. Один раз в беспмятстве ему удалось сесть в кровати. Дочь и доктор хотели уложить его обратно, но он уперся рукой в подушку, а другой торопливо рвал ворот рубашки и тихонько, горячо, со свистом в горле шептал:

— Да к чему же?.. К чему?.. Я же знаю! Я все знаю!.. — В сухих, воспаленных глазах его мерцал беспокойный, трепетный свет горькой какой-то мысли.

Кое-как уложили его... Дочь припала к отцу на грудь, затряслась в рыданиях:

— Папа! Папочка мой хороший!.. Папа!..

Доктор увел женщину из палаты и остался с больным один.

Ефим притих.

Врач сидел на кровати, смотрел на него.

— Кирька! — позвал Ефим, не открывая глаз.

— Чего? — откликнулся чей-то голос.

Врач вздрогнул и обернулся — у окна стоял Кирька и глядел на Ефима. Он давно уж наблюдал за непосильной борьбой человека со смертью.

— Вы что тут?

— Смотрю...

— Это кто? Кирька? — спросил Ефим.

— Я.

— Пришел?

— Ага.

— Ничего, Кирька... — Ефим жадно дышал. — Я потом с тобой потолкую... Конечно, жалко малость...

— Ничего. Лежи, Ефим.

Врач ничего не понял из этого странного разговора. Он решил, что Ефим опять бредит, и сделал знак Кирьке, чтобы тот ушел: больной волновался.

Кирькина голова исчезла.

Ночь кончалась. Заревая сторона неба нахмурилась тучами. Повеяло затхлым теплом болотистых низин — собирался дождь.

Где-то прогудела машина; несколько кобелей-цепняков простуженно забухали в рассветную тишину.

Над Ефимом склонились врач и дочь.

— Все? — спросил Ефим одними губами.

У женщины запрыгал подбородок. Врач воскликнул:

— Что это вы, Ефим Назарыч! Глупости какие...

— Открой окно.

— Оно открыто.

— Тяжко... Нина, дочка... ребятушек... м-м... — Ефим повел потускневший взгляд в сторону, потянулся под одеялом... Лицо покрылось мучнистой бледностью. Он закашлялся... Из рта на подушку протянулся тонкий ручеек сукровицы. Последним усилием рванулся он с койки... сел.

Доктор и дочь подхватили его.

В горле у Ефима кипело. Он хотел что-то сказать, но только мычал. Он плохо держал голову... пачкал белый халат дочери теплой кровью и мычал — хотел что-то сказать.

— Что, Ефим, плохо? — с искренней участливостью спросил вдруг посторонний голос — это Кирька опять стоял у окна. Ему никто не ответил. Его даже, наверно, не услышали.

Ефим сразу отяжелел в руках дочери, обвис... Его бережно положили на койку. Стало тихо. Женщина окаменела у койки. Смотрела на отца большими глазами. В стекла окон сыпанули первые крупные капли дождя; деревья в больничном саду встрепенулись, закачали ветвями, зашумели.

Порывом ветра в окно палаты закинуло клочок бумаги; он упал к ногам женщины, тихо шаркнув по полу. Она вздрогнула, опустилась перед отцом на колени... Кирька медленно пошел прочь от больницы. Шапку забыл надеть — нес в руках. Теплый обильный дождь полоскал голову, стекал по лицу, по шее, за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь — первый в этом году.

Шел Кирька и грустно смотрел в землю. Жалко было Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять: почему жалко? Грустно было и жалко, и все.

Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячью длинных сверкающих ножек. Кипело, булькало в канавках и в лужицах... Хлюпало.